

Григорий Барац

ОБЫСК

Сказать, что обыск был внезапным, было бы преувеличением. Обычно Тепецких загодя предупреждал о предстоящем визите ментов сотрудник ОБХСС Миша Черный, которого вся Одесса, от Привоза до Староконного рынка, знала за Моню Шварца. У них был условный знак. Моня забрасывал в окно квартиры Тепецких, находящейся на втором этаже дома на Базарной угол Треугольного переулка, пластилиновый шарик с вдавленной в него медной монеткой. Достоинство монетки и предупреждало Тепецких о количестве дней до обыска. Даже зимой форточка в окне не закрывалась. В последний день каждого месяца, как только стемнеет, из окна на ниточке опускалось детское ведерко, из которого Моня, озираясь и потевя, вынимал немножко денег, ровно вдвое больше месячного оклада на службе.

Обычно, получив Монино послание, Беба, супруга старого Тепецкого, Зюни, вместе с дочкой Норой, недавно вышедшей замуж за Ньюму, недавно вышедшего на свободу, но тут же устроившегося заместителем директора по хозяйственной части техникума газовой и нефтяной промышленности, вытаскивали с антресолей два чемоданчика-близнеца с уже уложенным в них комплектом белья. Оставалось вложить только продукты. Подготовка к обыску была отработана до мелочей.

Мебельный гарнитур, по утверждению хозяина комиссионки, где он был куплен, из африканского ореха, переносился к соседям по лестничной площадке – керосинщикам Плейзерам, на взаимовыгодных условиях. Когда предупреждение о предстоящем обыске получал все от того же Мони одноглазый Леня Плейзер, его мебель перетаскивали в квартиру Тепецких.

Глава семьи одноглазый Леня, пролежав после ранения почти полгода в минском госпитале, был комиссован и в аккурат под Новый 1945-й год вернулся домой, в Одессу. Квартиру свою, занятую каким то жэковским начальником, он брал так же, как шел в атаку в последнем бою в Белоруссии. Из эвакуации в Стерлитамак вернулась большая семья, жена с родителями и двумя детьми. Их нужно было кормить.

Леня прибил к продавцам керосина. Для начала ему доверили ручной колокол, которым он будил жильцов, выкрикивая одновременно со звенящими ударами «керосин, керосин!». Подельник, наливающий керосин, был жадноватым. Чувствительно не доливал. На него вскоре кто-то капнул, и его повязали. Леню перевели на кран. И хотя Леня недоливал почти незаметно, он тоже договорился с Моней. Раз в месяц Моня подходил к бочке керосина, которой командовал Леня, с двумя трехлитровыми бидонами.

И все-таки большинство обысков были у Тепецких. «У них есть что взять», – оправдывая ментов, говорила безвозрастная одинокая тетя Этя. Так ее звали все: от малышни до сверстников. Жила она на третьем этаже внутридворового флигеля. Но практически весь световой день сновала у ворот или сидела на малюсенькой табуреточке, переговариваясь с соседкой из дома напротив. Пройти мимо, не ответив на тети Этины вопросы, было невозможно. Выходящих она лукаво выспрашивала, куда идет и когда вернется. Входящим докладывала о присутствии в их квартирах домочадцев.

Хрустальные вазы, фаянсовые и фарфоровые столовые, чайные и кофейные сервизы переносились на этаж выше, в квартиру Толеевых, потомственных строителей из итальянцев, которых допоздна не было дома, но ключи всегда лежали под ковриком у порога их квартиры. Перенос сервизов был самым простым и быстрым делом. Хранились они упакованными в ящики. Тепецкие пользовались ими только по праздникам: на Рош Хашана (Новый год по иудейскому летоисчислению) и Песах – потому что не отмечать их было неприлично, так как угощения ждал весь двор, Первомай – потому что считали его тоже еврейским праздником, воспринимая лозунг «миртрудмай» изречением из Талмуда

на идише, и возвращение главы семейства из тюрьмы, потому что это таки да был праздник.

Последними выносились ковры, которыми были увешены стены и покрыты полы квартиры. Ковры служили не столько для украшения, сколько для утепления и звукоизоляции. Стены дома, выложенные из ракушняка в конце девятнадцатого столетия, как термос, хранили тепло летом и холод зимой. Простенки, которыми были созданы коммунальные квартиры, изготовленные из фанеры и камышовых матов, покрытых вечно осыпающейся штукатуркой, как гитарная дека, не поглощали, а увеличивали звуки.

Метод сокрытия ковров был простым, наивно-наглядным, но эффективным. На стенах лестничной клетки, межэтажных площадок, Зюня Тепецкий раз и навсегда вбил по два костыля – кованых железных крюка, на расстоянии друг от друга, равном размеру ковров. Оставалось только снять ковры в квартире с таких же крюков и повесить их в парадной. Менты все понимали, но найти хозяина ковров не могли. Кого из соседей ни спрашивали, в ответ слышали: «Наши, дворовые».

Так было всегда. Но на сей раз предупреждение от Мони не поступило...

На случай непредвиденного появления ментов также была годами сложившаяся домашняя заготовка – спектакль импровизаций, в котором каждый знал свою роль и получал удовольствие от ее исполнения. Посему непредвиденным появление сыскарей можно было считать только условно.

Понятых в доме они не нашли. Мотались по соседним дворам, останавливали прохожих.

Дворничиха баба Зина долго не могла найти ключ от двери парадной, которая в конце концов оказалась открытой. В проеме распахнутых дверей появился «подполковник милиции» в полном облачении. Это была сольная партия Сенечки-мишигинер.

«О дайте, дайте мне свободу! Я свой позор сумею искупить», – выводил он неожиданно красивым бархатным баритоном. Где он достал мундир с красными лампасами на штанах? Почему его не отбирали? Непонятно. Еще несколько минут отнял он, распекая ментов, причем настолько убедительно, что даже те из них,

кто не в первый раз видел и слышал его, на несколько минут застыли, как загипнотизированные.

Был ли Сенечка подвешанным или прикидывался, можно было только гадать. На Бульваре и Таможенной площади фарцевал по мелочам. Выменивал папиросы с фильтром «Сальве» на американские сигареты «Мальборо» и «Честерфилд», которые продавал швейцарам гостиниц «Красная» и «Одесса». Мог подолгу занимать дворовую пацанву на ходу выдуманными героическими эпизодами своих приключений. Коронным номером его выпендривания был подъезд к дому на «кастрюльщике», которого он останавливал за квартал. Выходя из машины и хлопая дверью, громко приказывал: «Подашь завтра, к девяти».

«Гиволд!» – вопила стоящая у ворот близорукая тетя Этя, когда менты подошли к ней почти вплотную. В сценарии подготовки к обыску ей отводилась немаловажная роль – она стояла на шухере. Кроме сизарей, вспорхнувших с отливов окон, это не испугало никого, но послужило сигналом к началу представления, где театр – весь дом, сцена – двор, зрители, действующие лица и исполнители – все жильцы, главные герои пьесы – обыскиваемые. Второстепенные роли и роли статистов достались ментам. Они вышли на сцену, то есть во двор, степенно, с достоинством неприкасаемых, обличенных властью, поскрипывая хромовыми гармошечными голенищами. Впереди, заложив руку за португею и нестройно насвистывая, важно шагал огромный усатый Панкрат Загоруйко по прозвищу Пан с изуродованным осколком мины страшным лицом, но с беззлой душой.

По мере заполнения партера жильцами коммуналок первого этажа – сырых клетушек, нависающих над подвалами, кишашими крысами, мильтоны скукожились, скисли и, тревожно озираясь, уселись на ступени лестниц. Один лишь Загоруйко стоял посреди двора рядом с голубятней в ожидании понятых.

Окно, едва возвышающееся над площадкой цокольного этажа, распахнулось первым. Из него, как из суфлерской будки, высунулись две говорящие головы. Трясла седыми патлами над когда-то породистым лицом польская еврейка Хайка, вдова легендарного бугра одесских портачей, на спор поднявшего рояль вместе с половицами, к которым его втихаря прикрутили спорщики.

Ее украинско-польско-еврейская брань была обращена вовсе не к ментам. Она кляла свою нищету, голоштанников, выселивших ее из роскошной квартиры в «чахоточную пердольку», кляла свою жизнь, заканчивающуюся у окна с видом на канализационный люк. Если бы не хроническая астма, ее филиппика продолжалась бы бесконечно.

Задыхающуюся и закашлявшуюся старуху заменила огненно-рыжая конопатая дочь Лейка, недавно вернувшаяся из Казахстана с медалью «За освоение целинных земель» и пачкой журналов «Иностранная литература» с 1955-го по 1958 год. Свою комсомольскую позицию она излагала отрывисто, тезисно, лозунгами, главным из которых был «соседи всех квартир, объединяйтесь». К ней присоединилась соседка по коммуналке, проститутка Валетка. Стоя на пороге, заполнив своим бесформенным телом весь двустворчатый дверной проем, она, не выпуская изо рта раскуренную папиросу «Беломор» и сплевывая желтую никотиновую слюну под ноги, проклинала «мильтонов поганых», суля им «хворобу и болячки на их свинские рыла».

Из подъезда послышалось контральто мадам Курочкиной – крашенной перекисью блондинки, театральной пианистки, и писклявый базарный фальцет иссиня-жгучей брюнетки, торговки мадам Мительман. Менты отловили их в доме напротив, в Треугольном переулке, и привели для исполнения знакомой им роли понятых в не раз разыгранном спектакле. Но даже за эти неполные полсотни метров они столкнулись в перебранке так, что если бы не сопровождавшие их милиционеры, немало светлых и черных волос осталось бы на пройденном ими пути.

Лет двадцать тому назад семнадцатилетней девчонкой, окончившей музыкальную школу, Настька Курочкина влюбилась в одногодку Сашку, сына заправщика сифонов Бори-рыжего. Расписалась с ним по-тихой, в районном ЗАГСе уже с животиком. Здесь и узнала, что зовут жениха не Сашка, а Шмуэль Борухович Зильберман. Фамилию мужа взять отказалась, но родила ему одного за другим троих мальчишек. В период декретных отпусков готовилась к сдаче экзаменов за очередной курс музучилища. И все бы хорошо, но на гастроли в Болгарию вместе с театральной труппой ей визу не открыли. Прямо не сказали, но намекнули,

мол, муж еврей. С тех пор и затаила она обиду не только на благоверного, но и на всех его одноплеменников.

Дочь школьного учителя географии Арона и медсестры Ревекки, Сонька Мительман была ребенком воспитанным и благообразным. Угроздило ее по уши втрескаться в Тимоху Дзюбенко, мать-одиночка которого, Глаша, торговала на Привозе раками. Сонькины родители не то чтобы отказались от дочери, но смущались, когда речь заходила о ней. А Сонька, выходя замуж за Тимоху, от родительской фамилии не отказалась, и, как оказалось, не напрасно. Когда выпивавшая Глаша внезапно померла, Сонька, проклиная свой выбор, вынуждена была стать за рыночный прилавок. Еврейская фамилия на Привозе придавала ей вес и значительность, что способствовало получению неограниченного товарного кредита.

Объединила подруг по случайному замужеству ненависть к семье Тепецких, отказывающихся одолжить денег и одной, и другой. Тепецкие нахально требовали, чтобы они сперва вернули прежний долг. Подружки от долга не отказывались, но не соглашались с условием возврата.

Как только сыскари вместе с понятиями скрылись в парадной, со двора на улицу выбежала ватага мальчишек и девчонок с авоськами в руках. С первой трелью электрического звонка, кнопку которого вдавливал без всякой надежды Панкрат Загоруйко, из окна Тепецких полетели свертки, аккуратно обернутые в газеты и перевязанные крест-накрест бечевкой. Самыми ловкими ловилами были Толяба с третьего этажа, старший сын работяг Нечаевых, которые наверняка всыпали бы ему, узнав о его участии в этом соревновании, и Витька по прозвищу Футбик, сын дворничихи Зины. Как только обыск закончился и оперы ушли, пачки денег вернулись хозяевам. За каждую словленную пачку пацаны получили, на минуточку, по целому бумажному рублю.

Спектакль продолжился выходом на авансцену главных героев – Тепецких, партия которых состояла из скупых реплик, обращенных к ментам: «Руки убрал, мусор!» – и ко двору: «Гражданин, подстава, дело шьют не по что», – в сопровождении дуэта белошвеек второго и третьего яруса Берты Литовской и Ханы Михельсон.

– Товарищ Пан, – обратилась Берта к Загоруйко, – клянусь вашими детьми, чтобы они не дай бог не остались без родителей, это такие люди, такие люди! Я люблю их, как родную дочь, чтоб она была мне на веки. Если бы они еще вовремя рассчитывались за пододеяльники и наволочки, которыми я себе напортила глаза, вышивая их по ночам, с них можно было бы колупать золото. Мадам Михельсон, – подняла она глаза наверх, к третьему ярусу, – скажите, я не правая?

– Кто за них знает лучше, чем я! – опершись о деревянный парапет открытой галереи, вторила Хана. – Беба – четвертый, Нора – пятый. Размер бюстгалтера женщины может много интересного рассказать о ее муже. По несколько метров нежного розового атласа уходит только на их лифчики. И никогда, слышите, Пан Загоруйко, никогда они не потребовали вернуть остаток, из которого хватает еще на пару заказов для нормальных женщин. Это таки да золотые люди, на них негде пробу ставить.

Дуэт прервал зычный бас из ложи второго яруса смотрящей по двору Макарихи. Служила она проводником плацкартного вагона на железке. Неделю в рейсе, неделю дома. Силой обладала недюжинной. С пьяными мужиками в вагоне справлялась легко. Била не кулаком, а ладонью наотмашь, да так, что не каждый мужик мог на ногах устоять. Во дворе разводила скандалящих баб легкими шлепками по заднице, после которых оставались синяки, но прекращался скандал.

– Людка, Людка, – пропела Макариха басом-профундо, – твоих хахалей уведят.

Людмилу, высоченную дородную разведенку, лет десять назад оставившую позади бальзаковский возраст, с трудом сохраняющую остатки былой красоты, но все же привлекающую к себе внимание в основном мужчин почтенного возраста, во дворе называли переходящим призом. Овдовевшие мужчины ближайшей округи моментально становились объектом ее охоты. И редко кто не попадался. Захомунав очередного возрастного ловеласа, охоту не прекращала, заботясь на перспективу о будущем.

– Товарищ Загоруйко, позвольте с человеком попрощаться, – обратилась Людмила к Панкрату, похлопав его по погону и заморгав длинными ресницами так, что он вспотел. Не ожидая ответа,

она обхватила старого Тепецкого Зюню так, что его голова оказалась у ее пышной груди, и сочно чмокнула его в лысину, оставив на ней лиловый отпечаток смачных губ.

– Не галдите, граждане, не галдите, – басил на все это Панкрат Загоруйко. – Мы приказ сполняем, препровожаем запидозреваемых в участок до хозяина. Вин попопрошит ваших карасиков и видпустить, як завжди, как всегда.

Как только пестрая процессия из соседей, понятых, милиционеров и Тепецких скрылась в подворотне, голубятники Мишка и Изька, размахивая длиннющими бамбуковыми шестами с разноцветными лентами на верхушках, подняли стаю.

Этим двоим великовозрастным оболтусам, гонявшим голубей с самого детства, повезло выжить в мясорубке войны. Призвали их только летом сорок третьего, восемнадцатилетними, хотя все предыдущие два года они рвались на фронт. Попросились в одну часть. На передовую попали в декабре, во время наступления на Житомир и Бердичев. Тут им повезло, даже не царапнуло. Но через месяц, во время наступления на Луцк и Ровно, оба были ранены: Изьке осколок снаряда проломил череп, Мишке пуля навывлет пробилась грудь. На время они потерялись. В тыловом госпитале чудом Изьку воскресили. Мишку лечили в прифронтовом госпитале. Но по излечении все же комиссовали. К лету сорок четвертого два девятнадцатилетних инвалида-счастливчика почти одновременно вернулись домой в освобожденную Одессу.

Чем полет голубей во время обыска отличался от ежедневного полета для приманки чужаков, не знал никто, кроме тех, кому это было нужно. К милицейскому участку возле Староконного рынка сошлись инвалиды со всей Молдаванки: кто без руки, кто без ноги, кто без глаза, на костылях, на культе, в коляске, вращая колеса руками. Эти люди работали в подпольных цехах Тепецких, изготавливали самые необходимые в быту вещи: расчески, щетки, булавки, иголки, ложки, вилки, ножи, ножницы и многое другое, чего недоставало в послевоенные годы. Бывшие квалифицированные токари, слесари, фрезеровщики, плотники либо просили милостыню, либо кормились у цеховиков.

Они не бунтовали, не сквернословили, не дрались. Просто стояли и беспрерывно курили возле участка, куда менты завели Тепецких.

– Хлопцы, разойдись! – скомандовал, выходя из дверей участка, Панкрат Загоруйко. – То учебна тревога, – и оглушительно загоготал.

Когда на улицу вышли Тепецкие, солнце уже закатилось за Дюковский сад.

– Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы, – бормотал себе под нос старый Зюня, слышавший эту мудрость еще от своего деда.

Не всем досталось место за двумя сдвинутыми впритык самопальными деревянными теннисными столами. Но никто не приронулся к еде, пока старый Зюня, раздав каждому по куску халы и возблагодарив бога за хлеб и вино, не произнес: «Стол – тыш, рыба – фыш, редька – рэйтых, прошу – ивбэйтых».

Моню Шварца, который, как оказалось, около года назад был уволен из ментовки, но продолжал брать деньги, инвалиды били в Дюковском по просьбе Тепецких не долго и не больно, но обидно – ремнем по заду, предварительно стащив с него штаны.

